



МУМУ

В одной из отдалённых улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолю и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окружённая многочисленную дворней. Сыновья её служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединённо доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День её, нерадостный и ненастный, давно прошёл; но и вечер её был чернее ночи.

Из числа всей её челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырём и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одарённый необычайной силой, он работал за четверых — дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошадёнки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день

так сокрушительно действовал косою, что хоть бы молодой берёзовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трёхаршинным цепом, и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твёрдые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж... Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житьё. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчуждённый несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растёт на плодородной земле... Переселённый в город, он не понимал, что с ним такое делается, — скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги — и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат — бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса всё у него было готово, и он опять то оста-

навливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дёла у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом — и не только телегу, самоё лошадь спихнёт с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчёт чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его; даже днём проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их

крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских — они его побаивались, — а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолье. Вообще Герасим был нрава строгого и серьёзного, любил во всём порядок; даже петухи при нём не сме- ли драться — а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил её себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырёх чурбанах — истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на неё — не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика — стул на трёх ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнётся. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только чёрный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошёл год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всём следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную; в доме у неё находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, — был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оценённым по достоинству человеком, образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нём речь у барыни с её главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его жёлтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.

— А что, Гаврила, — заговорила вдруг она, — не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

— Отчего же не женить-с! Можно-с, — ответил Гаврила, — и очень даже будет хорошо-с.

— Да, только кто за него пойдёт?

— Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Всё же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

— Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.

— Да!.. пусть посватает Татьяну, — решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, — слышишь?

— Слушаю-с, — произнёс Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец, он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился... Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и учёной прачке, поручалось одно тонкое бельё), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке

почитаются на Руси худой приметой — предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости её держали в чёрном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали её плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней всё равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли — вот и всё. Когда-то она слыла красавицей, но красота с неё очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та её почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробежать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на неё особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на неё начал, наконец и вовсе глаз с неё не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений — бог его знает! Вот однажды пробиралась она по дво-

ру, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту... кто-то вдруг сильно схватил её за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошёл прочь и, обернувшись, ещё раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдёт, он уж тут как тут, идёт ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и её при нём оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась её, как говорится, шпынять и до того её довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил её на

голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой чёрт, леший!» — пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалялся с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвёл в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И всё это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила её повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжёлой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком её побаивался, но всё-таки надеялся на её милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней,

как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко сам поймёт причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, — думал он, посиживая у окна, — конечно, жалуется Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), всё же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и наконец, оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он всё в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, чёрта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь... право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошёл, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам нужно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провёл рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?